



"Японец: натура и культура"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org

Григорий Чхартишвили.

Японец: натура и культура

Похоже, что на Японских островах вызревает прообраз человека будущего, нового андрогина, который совместит в себе восток и запад.

Великий немой

Вот уже несколько десятилетий на обширнейшей опытной базе, почти не замеченной человечеством, идет уникальный эксперимент по выведению homo sapiens новой породы. Это отнюдь не селекция традиционного гибридного типа, когда в результате смешения рас, культур и менталитетов получается какой-нибудь англо-индокитайский Лондон или англо-афро-испано-еврейский Нью-Йорк, а диковинной кудесничество мичуринско-лысенковского толка, безо всякой генной инженерии, исключительно при помощи прививки и яровизации.

Япония – очень большая страна, по населению почти такая же, как Россия, а по технологическому, промышленному и финансовому потенциалу, разумеется, и побольше будет. Если происходящие там удивительные антропогенетические процессы до сих пор ускользают от нашего внимания, то лишь в силу некоторой призрачности японского присутствия в современном мире.

Отчасти японцы виноваты в этом сами – слишком уж пестуют они свое пресловутое островное сознание. При огромных возможностях Япония принимает минимальное участие в международной деятельности. Она взирает на мир из-за невидимого, но труднопреодолимого барьера. Барьер этот фортифицирован головоломным языком и пугающей письменностью. Япония среди великих стран – Великий Немой. Ее культурное общение с внешней средой происходит в основном на языке жестов и символов – изобразительного искусства, икебаны, спорта, архитектуры, моды, скуднотекстового кино. Нигде (даже в России) нет такого количества писателей и поэтов, но сколько из них известно миру?

В общем, мы Японию видим, но почти не слышим. Зато она чутко прислушивается ко всему, что происходит в мире, и через уникальную мембрану своей гипертворимчивости вбирает все, что кажется ей полезным или занятным, не отдавая во внешний мир почти ничего своего. Непонятость – причина перманентной обиды Японца на Большую землю, и кольчуга, расставаться с которой ему не хочется. Вот почему иностранец, слишком хорошо знающий язык и обычаи аборигенов, вызывает у них не привычное в таких случаях умиление, а настороженность.

Именно непонятостью объясняются широко укорененные в зарубежной культурной традиции и массовом сознании заблуждения относительно японского национального характера. Всякий, читавший «Сегуна» и смотревший «Восходящее солнце», знает, что Японец скрытен, коварен, жесток, непредсказуем и фантастически шустр. На самом деле все ровно наоборот: классическому Японцу скорее свойственны бесхитрость, чувствительность (слезы не возбраняются даже суровому самураю), почти экзотическая честность, абсолютная предсказуемость (Японец всегда играет только по правилам, он – истинный маньяк пресловутой fair play) и, скажем прямо, некоторая заторможенность – китайцы или корейцы куда шустрее.

Триумф лысенковщины

Поистине поражает скорость с которой прямо на глазах меняется национальная физиономия Японца. Нынешние двадцатилетние очень мало похожи на отцов и совсем не похожи на дедов.

Молодое поколение так потрясло воображение японского общества, что заслужило особое прозвище – Синдзинруй, Новое Человечество. Это вам не какое-нибудь американское «поколение Икс», тут пахнет нешуточным мутагенезом.

Первая причина метаморфозы – обрушившееся на Японца (нет, вернее, честно им заработанное) богатство и связанное с этим избавление от расовых, национальных и социальных комплексов. Еще тридцать лет назад японцы были бедны, скудно питались и жили в крольчатниках. Еще двадцать лет назад японцы смотрели на американцев и европейцев снизу вверх, готовые признать, что у тех все-превсе лучше – и форма глаз, и длина носа, и музыка, и литература, и даже кухня (только вот рис варить длинноносые не умеют). Но подросло новое поколение, никогда не знавшее нужды, и выяснилось, что оно чувствует себя в мире, в том числе зарубежном, вполне уверенно и комфортно.

Синдзинруй отличается раскованностью, приличным знанием иностранных языков, легким отношением к вопросам семьи и брака, нежеланием надрываться на работе и вдумчивым отношением к досугу, который является главным жизненным интересом нового Японца. Побывав в Японии после трехлетнего (всего лишь) перерыва, я был сражен тем, что молодые токийцы – о ужас! – стали переходить улицу на красный свет, что раньше было совершенно невыносимо. Это вам не пустяк, тут налицо революция в системе ценностей.

Ладно, переворотами в общенациональной ментальности нас не удивишь – сами за десять лет ого-го как переменились. Но Японец умудрился преобразиться и чисто физиологически. За какие-то три десятилетия существенно изменились некоторые основные антропометрические характеристики нации. Средний японец стал на двадцать килограммов тяжелей, на двадцать лет долгожительней и на двадцать сантиметров выше. Не так давно, еще в конце семидесятых, автор этих заметок при своем вполне среднем росте возвышался над японской толпой почти что Гулливером, теперь же я теряюсь в ней так же, как в московской. У Японца вытянулись руки и ноги, чем и объясняются неожиданные успехи японских футболистов, теннисистов, гимнастов и балерин. Помните, Маяковский писал: «Если мы как лошади, то они как пони?» Так вот, забудьте. Завтра мы рядом с японцами будем как пони.

И совсем уж с небывалой для гомогенного этноса стремительностью меняется лицо Японца (лицо не в переносном, а в буквальном смысле). Разглядывая публику в токийском метро, все чаще замечаешь физиономии, лишенные характерных расовых отличий. Дело не только в среднеоксидентальном выражении лица и манерах – у японцев начинают «размываться» монголоидные черты.

Это отдающее мракобесием наблюдение подтверждается и антропологами, которые объясняют подобное чудо революцией в рационе питания и образе жизни. Оказывается, у Японца заметно трансформируется строение черепа: удлиняется нос, заостряется подбородок, вытягивается лицо – в общем, настоящий триумф лысенковщины. Происходит майклджексонизация Японца, и это, ей-богу, неспроста. Похоже, что на Японских островах вызревает прообраз человека будущего, нового андрогина, который вместит в себе Восток и Запад, Инь и Ян.

О японскости

Космополитизируясь, японец приобретает новые, прежде не свойственные ему черты, но при этом умудряется не утрачивать своей национальной неповторимости, то есть в полной мере сохраняет японскость. На этом, в частности, стоит вся японская культура, в которой при постоянном возникновении новых течений, школ, направлений бережно сохраняется все старое и, казалось бы, отжившее. Искусство в Японии развивается совсем не так, как в прочих странах, где оно строится подобно многоэтажному дому, – все строители копошатся на самом

верхнем, сегодняшнем этаже, а в нижних ни души. Японцы же, затеявая новое строительство, отводят под него отдельный участок, их культурный сеттльмент весь состоит из не заслоняющих друг друга построек: постмодернистский театр мирно соседствует со средневековым, компьютерная живопись с каллиграфией et cetera. Одни из главных компонентов в формуле японскости – спонтанная переимчивость и приспособляемость к новым условиям жизни. Вот почему в новом антропогенезе именно Японцу досталась роль дрозофилы. Возможно, причина столь спорной реакции Японца на внешние влияния объясняется уникальностью исторического опыта: Япония, как Илья Муромец, долго сидела на печи, два с половиной столетия полностью изолированная от мира, и, видимо, накопила бешенную дозу мутационной активности. Сто сорок лет назад Иван Гончаров писал, что японец вял, ленив, нелюбопытен и вообще «неинтересен». Вряд ли писатель был до такой степени ненаблюдателен – просто Японец с тех пор слишком уж преобразился.

Дрозофила полюбилась генетикам главным образом за то, что век ее недолог. Она как будто совсем не цепляется за жизнь – смерть поджидает бедную плодовую мушку почти сразу же после рождения. Сегодняшний Японец живет дольше всех на свете, но от прочих подвидов homo sapiens его отличают особо доверительные, можно сказать, дрозофильные отношения с небытием.

Небоязнь смерти – еще один краеугольный камень японской культуры, еще одно объяснение редкостного таланта японца к мутагенезу. Смерть все время находится в поле зрения Японца, является постоянным атрибутом его экзистенциального интерьера, при этом ничуть не нарушая душевный уют. Отсюда лояльное, не осуждающее отношение к самоубийству.

Помню как в японском университете, где я стажировался лет двадцать назад, юная студенточка прыгнула с крыши по причине неразделенной любви. Обычное вроде бы дело, но уж больно легкомысленной была оставленная самоубийцей записка – мол, не полюбил в этой жизни, так полюбит в следующей, никуда не денется. А недавно я перелистывал стопку тетрадок с сочинениями японских четвероклассников на тему «Мое будущее». Там были нормальные детские мечтания: стану олимпийским чемпионом, получу Нобелевскую премию, никогда не женюсь и так далее, но каждое сочинение без единого исключения кончалось описанием собственной смерти. Десятилетние японцы излагали свои чаяния по этому печальному поводу безо всякой дрожи: наивно – «Буду убит во время зарубежного государственного визита»; романтично – «Совершу двойное самоубийство с любимым человеком»; неординарно – «Умру в 88 лет, поняв, что мне все равно не пережить родителей». Дети наглядно проиллюстрировали японскую рецептуру жизни: memento mori без трагического заламывания рук и возведения очей горе.

Не скрою, люблю японцев (вполне понимая всю политическую некорректность подобного заявления).

По-моему, они – интереснейшая нация на свете.

По-моему, их пример вселяет оптимизм и, стыдно вымолвить, веру в человечество.

По-моему, они демонстрируют всем нам, что человек может учиться на ошибках и изменяться к лучшему.

В общем, пусть их мутируют. Может, со временем Японцу как первопроходцу антропогенеза поставят памятник – увековечили же в бронзе дрозофилу.